

## МЕЖДУ СУДЬБОЙ И ОБМАНОМ: ЛЮБОВНОЕ ЧУВСТВО В “ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ” И В “ДУБРОВСКОМ”

© 2006 Л.В. Гайворонская

Воронежский государственный университет

В отрывке “Гости съезжались на дачу” (1829) “строгость и чистота Петербургских нравов” изъясняется тем, что “для любовных приключений наши <российские> зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы” [VIII, 37]. Своеобразная авторская ирония как раз в том и заключается, что почти все “любовные приключения” в произведениях Пушкина (хотя и не петербургские) приходится на лето и частично — на зиму (целью данной статьи не ставится изучение их несомненного различия). Любовные встречи происходят именно летом: в стихотворениях “Русалка” (1819), “Как счастлив я, когда могу покинуть” (1826), поэме “Кавказский пленник” (1820–1821), пьесах “Русалка” (1829–1832) и “Каменный гость” (1830), балладе “Яныш Королевич” (1833–1834). И в этом смысле по-пушкински “логично” лето в “Евгении Онегине” (1823–1830).

Роман в стихах, согласно 17-му примечанию, строится по календарю. С точки зрения календарной структуры, летние события — это “день Онегина в деревне”, знакомство с Ленским, встреча с Татьяной и следствие этой встречи — безответная любовь героини (II–IV главы), а также, видимо, посещение Татьяной онегинского

дома (VII глава). Эксплицитные “летние” пометы даны: в главе I (встречи автора и героя), в IV главе (описание “святой жизни” Онегина в деревне после объяснения с Татьяной) и в VI (строфы, посвященные памяти погибшего поэта Ленского, где лето в соседстве с весной). Кроме того, указанные нами события во II и III главах соотносимы с летом по “природному” календарю: жара, “брусничная вода”, пенье соловья, сбор ягоды в саду дворовыми девушками и т. п.

Летние коннотации подтверждают и значительно усложняют неоднократно отмеченный исследователями аспект образа Онегина-Демона<sup>1</sup>. Так, строфы о встречах автора с героем “летнею порою” идут следом за теми, в которых исследователи традиционно усматривают пересечения с “Демоном”. Любопытно, что во время этих встреч ночью у Невы автор и Онегин вспоминают “прежних лет романы”, “прежнюю любовь”, интересен и эмоциональный настрой: “Дыханьем ночи благосклонной Безмолвно упивались мы!” [VI, 24]<sup>2</sup>. Эти лексические сигналы предвосхищают и подключают мотивы пушкинского “русалочьего текста”, небезразличные и для структуры романа в стихах<sup>3</sup>. Заметим, что к моменту знакомства с автором Онегин предстает уже “с душою,

<sup>1</sup> См. работы: Медведева И. Н. Пушкинская элегия 1820-х годов и “Демон” / И. Н. Медведева // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. — М.; Л., 1941. — Вып. 6. — С. 61; Осповат Л. С. “Влюбленный бес”. Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821–1831 гг. / Л. С. Осповат // Пушкин. Исследования и материалы. — Л., 1986. — Т. 12. — С. 191; Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий / Ю. М. Лотман. — СПб.: Искусство, 1995. — С. 547; Скачкова О. Н. Темы и мотивы лирики А. С. Пушкина 1820-х годов в “Евгении Онегине” / О. Н. Скачкова // Болдинские чтения. — Горький, 1983. — С. 47; Иваницкий А. И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина: К проблеме онтологии петербургской цивилизации / А. И. Иваницкий. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. — С. 97.

<sup>2</sup> Цитируем по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. — М., 1994–1997. В скобках римская цифра указывает номер тома, арабская — номер страницы.

<sup>3</sup> О так называемом “русалочьем тексте” в пушкинском творчестве см. в работе: Фаустов А. А. Герменевтика личности в творчестве А. С. Пушкина (две главы) / А. А. Фаустов. — Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. — С. 40–64. О сопряжении семантической зоны лета с “русалочьим текстом” см.: Гайворонская Л. В. К семантике времен года у Пушкина: лето и поэзия (готовится к печ.)

полной сожалений" [VI, 25] (а в описании светской жизни немалое место занимают его *любственные* похождения и *измены*, "роднящие" героя с Дон Гуаном и по демоническому началу также). Однако слово *келья* в ироничной обрисовке светского жилища Онегина предваряет *отшельнические* мотивы деревенской жизни.

Автор романа неоднократно подчеркивает разность между собой и героем. И главное отличие состоит в том, что Онегин *не поэт*. Для автора уединенная жизнь в деревне сопряжена с *покоем/волей/поэзией* (подобным образом рассуждает Владимир в "Романе в письмах": "...деревня же наш кабинет" [VIII, 52]). *Поэт* Ленский, возвратившись после странствий в деревню, "ведет" себя как бы в ситуации *поэтического побега*: "Он рощи полюбил густые, *Уединенье, тишину*" [VI, 41]. Да и Татьяна, наделенная мотивами поэтического творчества, предпочитает уединенную жизнь в деревне. Напротив, Онегину, попавшему в деревню, "*Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихого ручья*" были новы только два дня — "потом уж наводили сон" [VI, 27-28]. В тематической зоне Онегина семантика поэтического побега, связанного с *летом* *lokus'*ом *дубрав у воды*, размывается. Зато усиливаются (хотя и поданные в ироническом ключе) мотивы искушения отшельника в "русалочьем тексте": "мудрец *пустынный*" [VI, 32]; "Онегин жил *анакоретом*" [VI, 88]; "Прогулки, чтение, сон глубокой, Лесная тень, журчанье струй, Порой *белянки черноокой* Младой и свежий поцалуй <...> *Уединенье, тишина*: Вот *жизнь* Онегина *святая*" [VI, 89].<sup>4</sup>

В какой-то степени любовь Татьяны — "искушение" для Онегина, в деревне иронически наделенного чертами монаха. Достаточно часто в исследованиях отмечается то, что Татьяне сопутствуют мотивы *ночи/луны; бледности*, очевидно перекликающиеся с атрибутами пушкинских русалок. К этим "русалочьим" признакам в Татьяне следует добавить и *детскость*<sup>5</sup>: лексема *дитя* в романе почти всегда относится к Татьяне, за редким исключением — к Онегину (в строфах о воспитании героя и о его любви к Татьяне). И весьма симптоматично автор предваряет описание сердечных чувств Татьяны замечанием,

знаковым для семантики *лета*, взаимодействующей с "русалочьим текстом": "*Тоска любви* Татьяну *гонит*" [VI, 58]. Конечно, не стоит сильно сгущать краски и напрямую проводить параллель между Татьяной и русалками пушкинских текстов хотя бы и потому, что Татьяна связана с *зимой*, впервые в паре с *зимой* появляется и *лунарный* мотив: "*Зимой*, когда ночная тень Полмиром доле обладает <...> *При отуманенной луне*" [VI, 44]. Однако наибольшее количество упоминаний *ночи/луны* содержится в рассказе автора о *любви* Татьяны *летом*: "Настанет *ночь*; луна обходит <...> Татьяна в темноте не спит" [VI, 58]; "И между тем *луна сияла* И томным светом озаряла Татьяны *бледные красы, И распущенные власы* <...> И все дремало в тишине При *вдохновительной луне*"; "И *сердцем* далеко носилась Татьяна, смотря *на луну*..." [VI, 60]. И в главе VII страсть Татьяны "догорает" *летом* ("Но *лето* быстрое летит" [VI, 151]): *луна* сопутствует ей, когда она совершает паломничество в дом Онегина ("*Луны* при свете серебристом В свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна" [VI, 145]; "И вид в окно сквозь *сумрак лунный*" [VI, 147]), и на обратном пути ("*Темно* в долине. *Роща* спит Над отуманенной *рекою*; *Луна* сокрылась за горою" [там же]). Подспудно проявляющиеся русалочьи черты в Татьяне через лунарный мотив подтверждаются авторским отступлением о *страсти* к некоей красавице, которая сравнивается с *луной* и наделена томным *взором*: "Но та, которую не смею Тревожить лирою моею, *Как величавая луна* <...> Как *томен взор ее чудесный!*..." [VI, 161-162]. Автор весьма выразительно подчеркивает исключительность таинственной красавицы: "Но ярче всех подруг небесных *Луна в воздушной синеве*". Интересно, что эти строфы главы VII находятся в соответствии с исключительным положением Татьяны среди московских граций.

Рождение письма происходит также при *луне*: "Все тихо. *Светит ей луна*" [VI, 60]; "Но вот уж лунного луча *Сиянье гаснет*" [VI, 68]. Впрочем, соблюдение семейством Лариных обычаев "милой старины" напомнит и о летних фольклорных праздниках с любовной семантикой (Аграфена Купальница (23 июня), Иван

<sup>4</sup> Семантика *lokus'*а *дубрав у воды* неоднозначна в пушкинском творчестве. С одной стороны, это маркер поэтического побега. С другой — обстановка любовной встречи с русалкой. О теме искушения отшельника-монаха, развернутой в раннем стихотворении "Русалка" (1819), см.: Гайворонская Л. В. К семантике времен года у Пушкина (готовится к печ.)

<sup>5</sup> Этот неожиданный для русалочьего любовного искуса мотив "детскости"-инфантильности поведения впервые появляется в стихотворении "Русалка" (1819): "Играет, плещется волною, Хохочет, плачет, как *дитя*" [II, 89]. Лирический герой стихотворения "Как счастлив я, когда могу покинуть" (1826) приходит в наивысший восторг от звуков русалочьей речи, подобной и "*младенческому лепету*" [III, 37].

Купала (24 июня), Петр и Феврония (25 июня) и т. п.), близких по времени к “русальной неделе”. И в этом смысле В. А. Кошелев, например, рассматривает любовь Татьяны и итог этой любви — письмо — как некий “языческий акт” [7, 147]. Однако в романе *лунарный* мотив в равной степени сопутствует и *поэту* Ленскому: “Он пел любовь, любви послушный, *И песнь его была ясна*, Как мысли девы простодушной, Как сон младенца, *как луна*” [VI, 35]; “*Он роиц полюбил густые <...> И Ночь, и Звезды, и Луну, Луну*, небесную лампаду” [VI, 41]. (В строфах о могиле поэта также встречается *луна*: “Сюда ходили две подруги. *И на могиле при луне*, Обнявшись, плакали оне” [VI, 142].) А потому написание письма — скорее творческий акт наделенной *от небес воображеньем* Татьяны, Музы автора<sup>6</sup>. Показательно, что в отрывке “<Участь моя решена. Я женюсь...>” (1830) Пушкин, объединяя в один смысловой комплекс *поэтическое творчество* и *любовь*, хранимую в тайне, сравнивает сердечное чувство с “*поэмой, обдуманной в уединении, в летние ночи при свете луны*” [VIII, 408], а в черновом варианте весьма красноречиво в проекции на любимое занятие Татьяны (чтение) — с “*поэмой прочитанной в парке молодою красавицей*” [VIII, 955]. Любопытно еще одно “сближенье”: язык подлинника письма Татьяны и знаковый подзаголовок отрывка — “с французского”. Вполне определенно, что и чувство героини одного корня с поэтическим творчеством: “Давно ее *воображеньем*, Сгорая негой и тоской, Алкало пищи роковой” [VI, 54].

Искушенный в амурных делах, герой “в пылу благих нравочений” “не искусился” любовью простой девы. Характерный сюжетный рисунок в текстах Пушкина “подсказывает” гибель героини от *измены/безответной любви*<sup>7</sup> (“гибель от него любезна” [VI, 118]), но этого как раз и не происходит. Впрочем, в светском блестящем положении и замужестве Татьяны исследователи иногда усматривают холодное могущество,

каким наделены Дочь Мельника и красавица Елица, превратившиеся после смерти в русалок<sup>8</sup>. Наличие пересечений темы *поэта и поэзии* с “русалочьим текстом” (в *lokus’е дубрав у воды*) в какой-то степени позволяет и такое прочтение изменившейся Татьяны, совмещенной к тому же с Музой автора в последней главе. Однако *покой и вольность* в Татьяне — прежде всего константы *поэтического творчества*, связанного в художественном сознании Пушкина с религиозно-онтологическим смыслом *субботы* — Покоя Господня. К тому же, тема *поэтического творчества* лишь соприкасается с “*русалочьим летом*” и преимущественно представлена в *осени и зиме*.

В пушкинском мире *любовные* встречи, происходящие *летом*, не имеют счастливого завершения. *Летняя* любовь таит *измену* — избраннице, а в самом широком смысле — себе, своей судьбе/обету, и потому *губит душу* (не говоря уже о том, что влечет смерть героини). *Лето губительно* — и Пушкин “не верит” ему. Столь значимая в творческом сознании Пушкина тема *Судьбы*, а вернее, ее позитивное проявление, не входит в семантическую зону *лета*. И потому случившаяся *летом любовь* Татьяны, “вверенной судьбе”, не завершается ничем и выглядит как губительное искушение не только для Онегина, но и для нее самой<sup>9</sup>. Недаром во время последней встречи героев Татьяна скажет: “Вы поступили благородно. Вы были правы предо мной: *Я благодарна всей душой...*” [VI, 187].

Напротив, в повести “Дубровский” (1833) *лето*, принесшее “много перемен в семейном быту Кирилы Петровича”, представляется своеобразной ловушкой для героини: князь Верейский возвратился в свое поместье в конце мая — через три дня он посетил усадьбу Троекурова — через два дня состоялся ответный визит в Арбатово. *Июль* приближает “гибель” героини. После свидания Маши с Владимиром Дубровским *июльской ночью* (а оно было вечером в день сватовства князя Верейского) события ускоряются: свадьба

<sup>6</sup> О Музе в Татьяне см.: Чумаков Ю. Н. Татьяна, княгиня, Муза (Из прочтений VIII главы “Евгения Онегина”) / Ю. Н. Чумаков // Концепция и смысл. — СПб., 1996. — С. 101-114.

<sup>7</sup> Так, причиной смерти и превращения героинь в русалок — Дочери Мельника и красавицы Елицы — является измена возлюбленных. В поэме “Кавказский пленник” (1820–1821) черкешенка *бросилась в воду от безответной любви* к пленнику, однако “превратилась” в русалку до своей гибели. О “русалочьих” мотивах, сопутствующих свиданиям пленника и девы, см.: Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина. Очерки / А. А. Фаустов. — Воронеж, 2000. — С. 289.

<sup>8</sup> См. Ильин В. Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина / В. Ильин // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX–XX век. — М.; СПб., 1999. — С. 310; Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина. Очерки / А. А. Фаустов. — Воронеж, 2000. — С. 261-262.

<sup>9</sup> В противоположность Татьяне, Онегин не вверен судьбе — герои это понимают и знают о невозможности счастья с самого начала: “Но я не создан для блаженства; Ему чужда душа моя” [VI, 78] — в проповеди Евгения, и — “Я не ропщу: зачем роптать? Не может он мне счастья дать” [VI, 118] — в признании Татьяны себе.

должна была состояться до начала Успенского поста, т. е. 2-го августа. Можно предположить, что венчание было назначено по окончании поста, т. е. после 15-го августа. Однако логика невероятной сгущенности событий в повести (в "конце сентября" Владимир похоронил отца, стал разбойником и вместе со своим отрядом успел напугать всю окрестность дерзкими нападениями на усадьбы, полюбил Машу, попал губернатором в дом Троекурова, где сумел вызвать всеобщую любовь и уважение и т. д.) устанавливает развязку истории в июле.

Июль в данном случае проявляет тождественность семантике *лета*, взаимодействующего, как уже говорилось, с "русалочьим текстом". Так, "русалочьи" черты *помертвения, бледности, онемения* обнаруживаются в момент сватовства князя Верейского: "Маша *остолбенела, смертная бледность* покрыла ее лицо. Она *молчала*. Князь... спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша *молчала*. <...> Маша *стояла неподвижно*... вдруг слезы побежали по ее *бледному* лицу" [VIII, 210]<sup>10</sup>. Наряжение невесты к венцу выглядит чуть ли не приготовлением мертвой к погребению: "В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, *убирала бледную, неподвижную* Марью Кириловну, голова ее *томно клонилась*" [VIII, 219]. Далее безжизненность героини усугубляется: "Ее подняли и *почти понесли* в карету"; жених, увидев Машу, "был поражен ее *бледностью и странным видом*" [VIII, 220]. Необратимость и неотвратимость обряда венчания уподобляется смерти и опусканию в могилу: "Они вместе вошли в *холодную, пустую церковь* (летним днем! — Л. Г.) — *за ними заперли двери*. <...> Марья Кириловна *ничего не видала, ничего не слышала*" [там же]. Ничего не видящая и не слышащая, как мертвая, Марья Кириловна после завершения обряда (а в контексте взаимодействия *летнего* текста с *русалочьим* — превращения в русалку) единственное, что почувствовала — "*холодный поцалуй немилого супруга*".

Между тем князь Верейский сначала не противен Маше и привлекает ее разговорами (*речами*), причем так, что она "не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видала она только во второй раз отроду" [VIII, 209]: "Марья Кириловна *с удовольствием слушала* льстивые и веселые приветствия светского человека" [VIII, 208];

"Марья Кириловна *слушала* его *с удовольствием*"; "Она разливала чай — *слушая* неистощимые <е> рассказы *любезного говоруна*" [VIII, 209]). С одной стороны, "неистощимые рассказы" князя перекликаются с завлекающими речами русалок, а с другой стороны — придают некую механичность облику "любезного говоруна" ("Разговор не прерывался" [VIII, 208]). Механичность — это и безжизненность. Князь сочтет отказ от молодой красавицы "*смертным приговором*" себе и проявит удивительную *бесчувственность* к мольбам Маши, воображающей брак с ним "как плаху, как *могилу*".

В пушкинском мире героини наказываются за расчетливость: Князь из пьесы "Русалка", Яныш-королевич да и Онегин. В отличие от сюжетных схем этих произведений не неверный возлюбленный, а героиня — "пылкая мечтательница" Маша — проявит "благоразумный расчет", но не для выгодного брака, а в любви. Маша "с невольной досадою" осознает в себе возрастающее равнодушие к "молодому французу". Будучи в отчаянии от сватовства князя Верейского, она представляет спасение в браке с любимым человеком как наилучший вариант: "Нет, нет... лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского" [VIII, 211]. Приготовившись выслушать признание слуги во время первого свидания, Маша окажется неготовой любить дворянина-разбойника. "Благоразумный расчет" обернется чуть ли не помешательством (напоминающим и безумие героинь-русалок перед смертью): "Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, *бессмысленно глядясь* в зеркало" [VIII, 219].

Кроме общих мотивов помертвения можно выделить и лексико-тематические пересечения с историями о русалках. В эпизоде приготовления Маши появляется и *дорогой венец*, каким были награждены неверными возлюбленными Дочь Мельника и красавица Елица и от которого они отказались: "Голова ее томно *клонилась* под *тяжестью бриллиантов*" [VIII, 219]. Но Маше не хватило решимости "сорвать" его — после свершившегося обряда она "не могла поверить, что *жизнь ее была навеки окована* (мотив удушающего ожерелья. — Л. Г.), что Дубровский не прилетел освободить ее" [VIII, 220], хотя она и искала "способа отправить кольцо в дупло *заветного дуба*" [VIII, 215]. Два свидания Маши с

<sup>10</sup> Согласно общеевропейской литературной традиции, в пушкинских текстах интересной *бледностью* обладают не только русалки, но и *романтические* барышни — Татьяна Ларина, Машенька из "Романа в письмах", Марья Гавриловна из "Метели", Маша из "Романа на Кавказских водах", героиня повести "Дубровский" и т. п., и молодые люди "с уклоном" в *романтизм* — Сильвио из "Выстрела", Владимир Дубровский да и Лиза Муромская представляет соседского *романтика бледным*.

Владимиром происходят в *lokus*'е русалочьего текста: в беседке *у ручья и под дубом*<sup>11</sup> (Владимир предлагает там свое покровительство: “Если решитесь прибегнуть ко мне... то принесите кольцо сюда, опустите его в *дуло этого дуба* — я буду знать, что делать” [VIII, 212]). Замужество Маши за князем Верейским и будущее пребывание в Арбатово фигурально приравниваются к русалочьему существованию на речном дне. *Lokus* Арбатово помечен интенсивным “водным” знаком: из окон княжеского замка гостям открывается вид на *Волгу*, и в то же время *сад* хозяина находится *на берегу широкого озера*: “После обеда хозяин предложил гостям пойти *в сад*. Они пили кофей в беседке *на берегу широкого озера*, усеянного островами” [VIII, 209]. Маша в Арбатово оказывается окруженной со всех сторон водой. Неверность любви оборачивается для героини русалочьим инобытием, что прочитывается и как *погубление души* в соответствии с семантикой *лета*. В авторском замечании о “преlestном виде” из окон князя Верейского содержится знаковый *летний* сигнал: “*Волга* протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно прозванные *душегубками*” [VIII, 209]. И в этом смысле не менее выразительны прочтения фамилии князя: Верейский = ‘верейя — род природного вала, как-кие бывают *в поймах*, на луговой стороне *рек*... а также — *небольшая, легкая лодка с парусом, шлюбка, ялик*”<sup>12</sup>. Фонетическое звучание фамилии подсказывает и другое ассоциативное значение: ‘вервие — веревка — удавка — петля’. (А эта семантическая линия ведет к *удушающему озерелью* из историй о русалках.) Можно только добавить, что *хилый и развратный старик* “не мог вынести уединения” [VIII, 207].

Максимально дистанцируясь от упомянутых и рассмотренных выше произведений, можно увидеть, как тексты о русалках (“Русалка” (1819); “Как счастлив я, когда могу покинуть” (1826); пьеса “Русалка” (1829–1832); баллада “Яныш

Королевич” (1833–1834)) образуют плотное семантическое ядро *лета* и отбрасывают тени-мотивы на остальные произведения с пометами событий *летом* (“Кавказский пленник” (1820–1821); “Каменный гость” (1830); протекающий на фоне всех времен года “Евгений Онегин” (1823–1830); “Дубровский” (1833)). В соответствии с известными пушкинскими сентенциями из “Осени” (1833) *лето — это муки плоти, которые губят душу* (“душевные способности”) — *погубление души*. Эта “архисема” лежит в основании всех *летних событий* в пушкинских текстах. Несмотря на возможность авторской симпатии (“Ох, лето красное! любил бы я тебя...”) звучание *лета* — минор, трагичный в своей сущности. И потому Пушкин не наделяет *лето* семантикой судьбы, лето — это “русалочий обман”, которому нельзя верить<sup>13</sup>.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19 т. — М., 1994–1997.
2. Гайворонская Л. В. Календарь А. С. Пушкина: дни недели (пятница) / Л. В. Гайворонская // Сборник студенческих работ филологического факультета ВГУ. — Вып. 4. — С. 134–139.
3. Гайворонская Л. В. К семантике времен года у Пушкина: лето и поэзия / Л. В. Гайворонская (готовится к печ.)
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.: Русский язык, 1981.
5. Иваницкий А. И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина: К проблеме онтологии петербургской цивилизации / А. И. Иваницкий — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. — 304 с.
6. Ильин В. Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина / В. Ильин // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX–XX век. — М.; СПб., 1999. — С. 96–312.
7. Кошелев В. А. Евангельский “календарь”

<sup>11</sup> В пушкинских текстах встречи с русалками совершаются в *lokus*'е *дубрав у воды*: в стихотворении “Русалка” (1819) (“*Над озером в глухих дубравах* Спасался некогда монах” [II, 88]); любовное свидание с русалкой в отрывке “Как счастлив я, когда могу покинуть” (1826) происходит в “пустынных *дубравах*” на берегах “молчаливых *вод*” [III, 36]. В пьесе “Русалка” (1829–1832) этот *lokus* сокращается до *заветного дуба на берегу Днепра*, замененного рошей в описании русалочьих игр.

<sup>12</sup> См. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М.: Русский язык, 1981. — Т. I. — С. 181.

<sup>13</sup> Хотя *свидания* героев “Барышни-крестьянки” приходятся на *лето* (что легко вычисляется), однако точку в веселой истории ставит *осень*, связанная с судьбоносной *пятницей*. (О пушкинской мифологии *пятницы* см. в работе: Гайворонская Л. В. Календарь А. С. Пушкина: дни недели (пятница) / Л. В. Гайворонская // Сборник студенческих работ филологического факультета ВГУ. — Вып. 4. — С. 134–139.) По-пушкински закономерно завершается и “Капитанская дочка”: Маша Миронова почему-то “выжидает” время (и это время — *лето!*), живя у родителей Петра Гринева, и лишь *ранней осенью* отправится вызволять своего героя.

пушкинского "Онегина" (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах) / В. А. Кошелев // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. науч. тр. – Петрозаводск, 1994. – С. 131-150.

8. Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960–1990. Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 1995. – 847 с.

9. Медведева И. Н. Пушкинская элегия 1820-х годов и "Демон" / И. Н. Медведева // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. – М.; Л., 1941. – Вып. 6. – С. 51-71.

10. Осповат Л. С. "Влюбленный бес". Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821-1831 гг. / Л. С. Осповат // Пушкин. Иссле-

дования и материалы. – Л., 1986. – Т.12. – С. 175-199.

11. Скачкова О. Н. Темы и мотивы лирики А.С. Пушкина 1820-х годов в "Евгении Онегине" / О. Н. Скачкова // Болдинские чтения. – Горький, 1983. – С. 45-54.

12. Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина. Очерки / А. А. Фаустов. – Воронеж, 2000. – 322 с.

13. Фаустов А. А. Герменевтика личности в творчестве А. С. Пушкина (две главы) / А. А. Фаустов. – Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ, 2003. – 240 с.

14. Чумаков Ю. Н. Татьяна, княгиня, Муза (из прочтений VIII главы "Евгения Онегина") / Ю. Н. Чумаков // Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. В. М. Марковича / Под ред. А. Б. Муратова, П. Е. Бухаркина. – СПб., 1996. – С. 101-114.

*Рецензент – А. А. Фаустов.*